

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ,
СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ФИНАЛЕ ЖИЗНИ ПОЭТА?

В нынешнем году, отмечая 125-летие со дня рождения Сергея Есенина, мы не можем не вспомнить о том, что 25 лет назад вышла в свет наша книга – первая биография поэта, изданная в серии “Жизнь замечательных людей”.

Эта книга к сегодняшнему дню выдержала более 10 переизданий, собрала обильную и эмоциональную прессу (достаточно перечислить заголовки некоторых отзывов: “Сергей Есенин” как зеркало русской революции”, “Ключи тайн”, “Психопат или пророк?”, “О Русь, малиновое поле...”, “...Он – последняя и роковая, самая крупная наша ставка”, “Поэзия и правда в судьбе Сергея Есенина”, “Битва мифов”). Ни один выпуск не залёживался на книжных прилавках, и сама книга была удостоена премии издательства “Молодая гвардия”.

Конечно, подобный труд в принципе не мог быть оценён однозначно и однотонно. Мнения были самые разные, прямо полярные – от неумеренных восторгов до чёрной брани. Конечно, были отклики, подобные следующему, напечатанному в “Литературной России” за подписью Вячеслава Огрызко: “Они написали размашистую клюкву, которая до сих пор производит сильное впечатление на многих поклонников журнала “Наш современник”...” Если учесть, что среди читавших и высоко оценивших “Сергея Есенина” далеко не все были нашими “поклонниками”, подобное утверждение производит впечатление, прямо скажем, не слабое... Но, как известно, в современном мире не одной бумажной прессой живы многие читатели. Давайте заглянем в интернет и посмотрим, что они пишут об этой “размашистой клюкве” (представим на данном мольберте всю цветовую палитру – от солнечного до намеренно чёрного).

“Любовь к Есенину заложена у каждого русского человека, кажется, где-то в подкорке мозга и начинается с самого рождения. Но мне никогда не был близок Есенин, а суета вокруг его имени вызывала разве что недоумение. Нужно ли говорить о том, что нелюбовь часто идёт от непонимания и незнания? Биография Есенина, по крупницам восстановленная Куняевыми, заставила меня посреди ночи лежать на полу и плакать от острой боли и какой-то тихой радости при чтении “Москвы кабацкой”. Так отчаянно искренне каждое слово, каждая строфа. И хочется прямо сейчас бежать в город и, “грусть свою уменьшив, золото овса давать кобылам”. Биография эта написана весьма своеобразным языком – есть в ней и чересчур резкие высказывания, и чересчур неоднозначные. Множество вопросов остаются без ответа, мистификации и кажущиеся реальными факты подвергаются сомнению, и постепенно водоворот

жизни хулигана и скандалиста затягивает так, что не хватает воздуха вздохнуть. Излишне явные идейные предпочтения авторов бросаются в глаза и возводят некую стену между читателем и поэтом. Авторы просто не допускают позиции, отличной от собственной, и это вызывает справедливые опасения, настороженность в отношении отдельных суждений. Но чаще всего факты говорят за себя, и огромная библиографическая база, серьёзное многостороннее исследование, проведённое в рамках написания данной биографии, всё же вызывают уважение и заслуживают доверия. И потому с первых строк мы оказываемся внутри жизни как она есть. И зачем художественная литература, если можно окунуться в самую настоящую реальность, которая подчас оказывается куда интереснее любого вымысла? Вместе с реально существующими героями мы ходим по Москве и Петрограду (Петербургу, Ленинграду). Вместе с ними мы задыхаемся в душных литературных салонах и окидываем взглядом бесконечные поля. Мы пляшем с нарядившимся в сестрино платье Есениным в Константиново и с ним же стоим у зеркала, глядяваясь в Чёрного человека. Сложная, мучающаяся личность, Есенин переживает все перипетии судьбы на наших глазах. Перерастает учителей. Переступает черту. Мы плачем о его драмах, смеёмся с его шалостей, упиваемся его поэзией. И мы понимаем его”.

“Начну с того, что с этой книгой прожила без малого месяц, и сейчас, не прошло и часа, как я дочитала последнюю страницу. Мне очень жаль, что книга уже прочитана, ведь я буквально жила в 10–20-х годах, переносясь вместе с Есениным из Константиново в Москву, Петербург, Баку, Тифлис, страны его европейского турне. . . С другой стороны, меня охватывает чувство полного удовлетворения, которое бывает только после прочтения по-настоящему сильных вещей. Биография Есенина, написанная отцом и сыном Куняевыми, не первая из прочитанных мною биографий великого Поэта. Об этой работе могу отозваться только положительно. Полное погружение в эпоху, атмосферу описанных мест. В книге очень много интересных исторических отступлений, которые позволяют понять обстановку в стране на момент того или иного жизненного события Сергея Александровича, понять, что его вдохновило в тот или иной момент, узнать, кто ему покровительствовал или наоборот, чинил препятствия. Из этой книги узнала некоторые любопытные факты из жизни Поэта, собранные авторами по мемуарам, письмам, воспоминаниям окружавших Сергея Александровича людей. Не раз такие факты заставили улыбнуться. Например, его диалог с Серебряковой, состоявшийся после суда по “делу четырех поэтов”. . .

“В эти же самые злополучные дни Есенин встретился на трамвайной остановке с писательницей Галиной Серебряковой, женой партийного функционера.

– Серёжа! – радостно воскликнула молодая эффектная дама. – Что ты здесь делаешь?

– Подъевреиваю трамвай!

– Что?! – Серебрякова не поверила своим ушам.

Есенин посмотрел ей прямо в глаза. Лицо его побелело, скулы напряглись, а зрачки приобрели тёмно-фиолетовый оттенок.

– Я теперь слово “жид” не употребляю. Так что все здесь поджидают трамвай, а я его – подъевреиваю. . . Ясно?!

Рядом загрохотал на рельсах вагон, раздался предупреждающий звонок. Есенин повернулся, ухватился за поручни и легко вскочил на подножку. Обернувшись через плечо, бросил:

– Адью!

Окаменевшая Серебрякова осталась стоять на том же месте в позе неподвижной кариатиды”.

Есенин был человеком незаурядного ума, возможно, порой, он не всегда отдавал отчёт своим выражениям, своим выходкам, поэтому и часто влипал в передраги. Хочется заметить, что в этой книге уделено меньше внимания взаимоотношениям Сергея Александровича с женщинами, чем, например, в не менее интересной биографии, написанной Аллой Марченко. Отдельное восхищение хочу выразить изданию. Прекрасно оформленная книга с отлично подобранными иллюстрациями”.

“Одна из лучших книг о Сергее Есенине! Её надо читать первой при знакомстве с поэтом. Братья Куняевы (! – С. К.) настолько точно описали жизнь

и творчество С. А, что невольно удивляешься. Конец шикарен. Как просто и точно: “Он будет шуметь, пока будет жива Россия”, – по-моему, так, если мне не изменяет память. В книге много фотографий поэта и его ближайшего окружения. Всем есенинцам советую”.

“В книге наряду с фактами из жизни поэта и в контексте с ними производится разбор и анализ многих произведений, что, в частности, объясняет многое нам сегодняшним. То, что воспринималось как поэтическая неточность, приобрело конкретную историческую или межличностную основу (“Емельян Пугачёв” и “Страна негодяев”, в частности). Книга написана максимально на фактах, имеющих под собой документальные основания, а если какое-либо предположение высказывается, то авторами это всегда оговаривается. Путь Поэта и его личность показаны без “припудривания”. При этом при всём “пьянстве-хулиганстве” перед нами предстаёт образ умного, глубоко думающего, истово любящего свою Отчизну и болеющего за её будущее, несмотря на “...в своём Отечестве я словно иностранец”. Книга – замечательный противовес С. Есенину “в редакции” господ Безруковых. Одно “но”: фотографии в книге не выдерживают никакой критики – они полностью лишены содержания ретушь”.

“Худшее из прочитанных мной в ЖЗЛ. Дело даже не в “оригинальной” версии смерти поэта: “убили коварные чекисты”. И даже не в откровенном черносотенстве автора – мол, чистого русского агнца замучили жидо-большевицкие троцкие-бухарины... А в том, что сам поэт, великий новатор стиха, выглядит здесь сусальным радетелем за Русь-матушку, эдаким херувимом. Много фактических неточностей, да и откровенно погромной риторики – чего стоит хотя бы пассаж про “оболганную Чёрную сотню” и злодеев демонстрантов. Фу”.

“Книга объёмная. Работа авторами проделана колоссальная. Биография написана масштабно и очень подробно, но часто сумбурно и с нарушением хронологии, в связи с чем одни и те же моменты описываются по несколько раз. Всё это может представлять трудности для людей, незнакомых с биографией Есенина и выбравших эту книгу, чтобы узнать о нём впервые. Остальные же только порадуются старым и новым подробностям.

Также авторы иногда не могут избежать субъективности в оценке некоторых исторических событий и личностей. Но в том, что касается самого Есенина, стараются быть объективными и не отступать от фактов”.

“Лучшая книга о биографии и творчестве Сергея Есенина, сочетающая документальную точность с динамичным, увлекательным изложением и доступностью для любого читателя. Книга по праву выдержала 10 переизданий, мгновенно раскупается и не залёживается на полках. Легендарная книга!”

“Я читать книгу Куняевых не стала по совершенно конкретному мотиву – каким бы странным он вам ни показался...

Мне антипатична личность самого автора.

Дело в том, что в годы т. н. “перестройки”, когда после десятилетий цензуры и страха на людей обрушилась буквально лавина ранее запрещённой литературы – мой отец в те годы выписывал не меньше 5 “толстых” ежемесячных журналов, и все они с жадностью “проглатывались”...

Так вот, Куняев в то время возглавлял журнал “Наш современник”, на общем фоне выделявшийся своей яркой прокоммунистической и просталинистской окраской. А, кроме того, Куняев оказался среди тех, кто подписал т. н. “Письмо писателей России” не просто антидемократического и русофильского, а даже, я сказала бы, антисемитского содержания.

Вполне допускаю, что Куняев искренне любит Есенина и со знанием дела пишет о нём. Читала его статью “РОКОВАЯ ОШИБКА ЕСЕНИНА” – превосходно написано. Но слишком уж деликатный вопрос “был ли Есенин антисемитом”, слишком вульгарно и предвзято он многими трактовался, слишком много настрадался сам поэт от обвинений в антисемитизме!..

Поэтому никак не могу заставить себя прочитать книгу автора, который может достаточно предвзято коснуться этой темы...”

“... Не купила бы эту книгу, если бы поняла, что это тот самый Куняев. Но сейчас не жалею – книга написана хорошо. Мне кажется, что это наиболее беспристрастная книга о Есенине, читается она, к слову, не очень легко, потому что очень много информации. Но информация эта давит именно количеством, а не качеством, и даёт возможность включить свою голову для размышлений”.

“... Она не запутана в плане подачи информации или тяжёлого языка, – конечно, нет! Просто она содержит МНОГО информации. И я, например, порой возвращаюсь назад, чтобы что-то вспомнить и сложить воедино. То есть она серьёзная, эта книга. А серьёзные книги лёгкими не бывают, на мой взгляд. Даже если они написаны легчайшим языком”.

“В книге Куняевых много домислов и противоречий. Она далека от научно-исторических методов изучения фактических данных.

Много загадочного и неясного в смерти Есенина и Маяковского. Несомненно, агенты ЧК и противоборствующих группировок в большевистской партии того времени так или иначе участвовали в трагических судьбах великих поэтов, пытаясь использовать или заглушить их мощный и популярный голос, но конкретные обвинения в их убийстве до сих пор ни юридически, ни научно-криминалистически, насколько мне известно, не доказаны. Исследования обстоятельств гибели выдающихся поэтов, надеюсь, будут ещё продолжены, если ещё сохранились какие-либо объективные данные. Что касается мнений или субъективных оценок, то и они могут представлять интерес, будоража мысль в направлении выявления подлинных событий и распутывания противоречивых представлений, доведения их до чёткой и ясной осмысленности произошедшего”.

“Когда один поэт пишет о другом поэте – это почти всегда интересно. Авторы (Станислав и Сергей Куняевы) в аннотации заявили свою книгу как первую попытку написать биографию Есенина без идеологической окраски, не предвзято. Но, конечно, и время написания книги (самое начало 90-х), и авторство предопределили идеологическую составляющую – антисоветский русский национализм, – местами вполне уместный, а местами бьющий через край и сводящийся, утрированно, к тому, что “жиды продали Россию, а потом споили Есенина”. С другой стороны, если не зацикливать внимание на “еврейском вопросе”, то в книге можно найти достаточно много полезной информации о есенинском окружении (как поэтическом, так и политическом) и цитат, раскрывающих отношение Есенина к людям и к происходящему в стране. Правда, Куняевы делают из приводимых ими цитат выводы, иногда кажущиеся мне просто нелогичными и противоречащими ими же приводимым документам, так что читать нужно с холодной головой, самостоятельно решая, какие из авторских мыслей кажутся верными, а какие – нет. Наиболее важная и интересная часть книги – это литературная критика. Особенно много внимания Куняевы уделили разбору его “Пугачёва”. Немного раздражает то, что авторы то и дело стремятся выдать свои мысли и идеи (пусть даже и хорошие) за есенинские – постоянно встречаемые в книге “Есенин подумал...”, “Есенин решил” и даже “Есенин написал... но на самом деле подумал...” – немного раздражают. Ну и, конечно, большое место уделено смерти Есенина. Авторы, следуя модной тенденции, склоняются к версии убийства, а не самоубийства. Это тем более странно, что перед этим они честно и развёрнуто показали, в какой депрессии находился поэт к концу двадцать пятого года. А никакой логичной картины – кому и зачем потребовалось бы убивать Есенина – они не приводят, лишь наводя тень на плетень, вроде – “протокол был составлен неправильно”, “воспоминания свидетелей отличаются в мелочах” и т. д., – что белыми нитками пришивает к версии убийства. Общее мнение – читать книгу можно и нужно, полезной информации в ней много, работу авторы проделали важную, но к авторским выводам (не только касаемых смерти Есенина, но и трактовки его произведений) подходить осторожно”.

А завершить эту панораму мнений мы хотели бы отрывком из статьи Инны Басовой “Стихи мои, спокойно расскажите про жизнь мою...”, опубликованной на портале “Русское поле”:

“Понимая, о ком ведут речь, отец и сын Куняевы отдельно и подробно рассуждают о феномене “есенинской легенды”. Какими размышлениями книга начинается – первая глава носит название “Бесконечная легенда”, а эпиграфом к ней выступает реплика Есенина из разговора с Вольфом Эрлихом:

“Я ведь теперь автобиографий не пишу. И на анкеты не отвечаю. Пусть лучше легенды ходят!” – такими и заканчивается: “Вокруг его имени и стихов вот уже восемь десятилетий не смолкает шум. И кажется, что это продолжает шуметь он сам – вечный бунтовщик и крамольник, чудо природы, уникальная фигура в истории XX столетия”...

“Сергей Есенин” – не просто жизнеописание с субъективным, предвзятым видением событий и их толкованием. Это тщательно вытканное полотно, наполненное, в первую очередь, осознанием масштаба личности, о которой повествуется, несомненно, любовью к ней, очевидной установкой отделить истинную сущность поэта от усердно наклепываемых слоев грязи. Авторы книги создали не просто портрет Есенина, а портрет эпохи: трагической, жестокой, невыносимой в своей несправедливости, когда русское – в России – оказалось неудобно и нежелательно, когда истреблялись многовековые устои и установившиеся не мыслимые ранее приоритеты. И в этом пространстве – мощная фигура т. н. “крестьянского” поэта, который сначала борется со временем, затем пытается с ним примириться, насколько можно, дабы быть в “своей стране сыном, а не пасынком”. Он всю книгу рядом с читателем – близкий и понятный, “хулиган и скандалист”, “хам” и “пьяница”, “рязанский лель”, “последний поэт деревни”, “Серёженька”, “Серёга”... И оттого так унизительно клеймо самоубийцы, лицемерно и нагло повешенное на шею даже не великого поэта – просто честного, хорошего человека.

Думаю, ... авторы согласились бы со мной, что для того, чтобы понять и начать уважать Сергея Есенина, есть только один путь – чтение его стихов. Одну из своих автобиографий, в которой лишь несколько скупых строк, Сергей Александрович заканчивает так: “Остальное – в моих стихах”. Даже больше: ВСЁ в стихах поэта, весь он и вся его жизнь. Если работы литературных критиков и исследователей порой заставляют усомниться в том, каков был Сергей Есенин, то в стихах перед читателями предстаёт человек, в котором сомневаться не приходится. “Стихи мои, спокойно расскажите про жизнь мою”, “Я сердцем никогда не лгу”, – писал поэт. Самому Есенину хочется верить гораздо больше, чем некоторым есениноведам”.

Конечно, каждый читает книгу по-своему и вычитывает в ней своё... Поэтому едва ли стоит сейчас возражать тем или иным авторам по поводу тех или иных отдельных замечаний. Но мимо одного пройти не удастся. “Авторы, следуя модной тенденции, склоняются к версии убийства, а не самоубийства”... Оставим в покое “модную тенденцию”, потому что далее следует гораздо более существенное: “Это тем более странно, что перед этим они честно и развёрнуто показали, в какой депрессии находился поэт к концу двадцать пятого года”.

К концу двадцать пятого года настроение Есенина было крайне неустойчивым – от покоя и творческого возбуждения до погружения в депрессию, вполне объяснимую тем, что он всё более и более чувствовал себя в состоянии загнанности, в постоянном ожидании удара в спину из-за угла... Об этом подробно рассказано в заключительной главе нашей книги “Последние дни”. Мы перепечатаем из неё часть, относящуюся к роковым четырём дням поэта в ленинградском “Англетере”, сопровождая републикацию необходимыми комментариями, для которых есть серьёзные основания.

Дело в том, что к нынешнему юбилею в серии ЖЗЛ вышла новая биография Есенина, написанная Захаром Прилепиным. Она в целом заслуживает отдельного разговора – и этот разговор мы начали в нашем журнале статью Юрия Павлова, опубликованной в № 9. В заключительной же главе, большую часть которой Прилепин посвящает развеиванию “мифов” об “убийстве” Есенина, содержатся такие строки: “Наконец, имеются литературные профессионалы, отчасти ставшие заложниками когда-то выдвинутой версии. Яркий пример – отец и сын Куняевы, в душе, думается, допускающие, что Есенин покончил жизнь самоубийством, но не могущие уже отказаться от итогов своих многолетних розысков. Столько сил потрачено! Что же теперь – заново начинать?”

Заново начинать, конечно, не требуется. Просто следует напомнить читателям ход наших рассуждений в середине 1990-х, рассуждений, которые со временем обогащались новыми фактами и наблюдениями.

Прибыв в Ленинград, Есенин не остановился у Эрлиха. Не навещил он ни Правдухина, ни Сейфуллину, как собирался, не остановился и у Клюева. Единственный из писателей, к кому он зашёл после прибытия, был Садофьев. После этого Есенин отправился в знакомую ему гостиницу “Англетер”.

В гостинице он поначалу осесть не собирался. И тут возникает первая странность. Из своей предыдущей поездки в Ленинград он вернулся вместе с Жоржем Устиновым. А теперь приехал в Питер снова... вместе с ним. Жорж был работником ленинградской “Красной газеты” и, естественно, держал руку на пульсе происходящих событий. Он и снял для Есенина 5-й номер в “Англетере”, где жил вместе с женой Елизаветой.

(Существуют воспоминания Скальского, который видел Устинова, садящегося в Москве в поезд, на котором Есенин уезжал в Ленинград. Устинов об этом ни в своих показаниях, ни в своих мемуарах не говорит ни слова. Захар, вам это не кажется странным?)

Зачем? По своей ли инициативе? Он ли уговорил Есенина поселиться в гостинице?

(Николай Астафьев, автор книги “Трагедия в “Англетере””: действующие лица и исполнители”, утверждает – и не без оснований, – что инициатором поселения Есенина в гостиницу был Вольф Эрлих. Эта книга – при всех замечаниях, могущих быть ей адресованными, – представляет собой въедливый и кропотливый разбор всех обстоятельств последнего пребывания Есенина в Ленинграде, – начиная с телеграммы, данной Есениным Эрлиху из Москвы. Почему-то Прилепин эту книгу вообще проигнорировал.)

Дело в том, что “Англетер” был ведомственной гостиницей для ответственных работников и в дни съезда находился под неусыпным контролем и тщательным наблюдением сотрудников ленинградского ОГПУ. Подобное соседство никак не могло радовать поэта. Он специально просил никого не пускать к нему в номер, так как за ним могут следить из Москвы.

Чувствовал за собой слезку, но совершенно не разобрался в причинах, породивших её.

Комендантом гостиницы, кстати, был чекист Назаров, в годы гражданской войны служивший в карательном отряде и принимавший участие в расстрелах.

Четыре есенинских дня прошли в предпраздничной суете и постоянных гостях. Есенин наведывался к Клюеву, с которым встретился очень сердечно, хотя тут же не преминул зло подшутить над старшим собратом и погасил у него лампадку перед иконой, сказав, что, мол, всё равно не заметит... Потом привёл Клюева к себе в номер, где читал стихи, а Клюев жестоко обидел своего “жавороночка”: “Вот переплести бы эти стишки, Серёженька, в шёлковый переплёт, были бы настольной книжечкой для всех нежных девушек и юношей в России...” Чуть не поругались снова, но простились с любовью.

Чтение стихов перемежалось литературными спорами, в которых возникали самые разнообразные имена – от Пушкина до Владислава Ходасевича. Время от времени Есенин запевал одну из любимейших песен – песню тамбовских повстанцев:

*На заре каркнет ворона.
Коммунист, взводи курок!
В час последний похорона
Расстреляют под шумок.*

Приблудный, перебравшийся в Ленинград, художники Ушаков и Мансуров, неизменно крутящийся вокруг Вольф Эрлих – все побывали тут. Есенин не терпел одиночества, а в последние дни – тем более. И просил Эрлиха оставаться у него ночевать, а когда тот всё же уходил домой, Есенин спускался вниз к номеру Устинова и до раннего утра сидел в вестибюле, чтобы потом постучать и попроситься в номер к Жоржу и его жене.

Это было достаточно серьёзно. Но либо жители “Англетера” сочли происходящее чудачеством, либо...

Через много лет вдова управляющего гостиницей Назарова Антонина Львовна рассказывала, как в 11-м часу вечера 27-го числа её мужа вызвали в гостиницу. Прибыв туда, он увидел там двух своих начальников – работников ОГПУ Пипия и Ипполита Ццирия. Примчался же он в гостиницу, получив известие, что с Есениным “несчастье”...

27-е число! 11 часов вечера! И первые некрологи также указывали на 27-е число. Это не утро, не 5 часов 28-го, на которые указывал потом некий таинственный врач, как сообщали газеты и чья версия была принята за официальную.

Что же произошло?

Георгий Устинов потом вспоминал, какая тяжесть его охватила 27-го числа и как он почувствовал, что что-то произойдёт. К его мемуарам надо относиться вообще с крайней осторожностью. В первом же некрологе “Сергей Есенин и его смерть” он ничтоже сумняшеся заявил, что поэт отправился в Ленинград именно умереть и повесился “по-рязански”, а в написанных позднее воспоминаниях уже утверждал прямо противоположное: что Есенин приехал жить, а не умирать. Но так или иначе, обратимся к последним мгновениям, когда Есенина ещё видели живым.

Он совершенно не пил все эти четыре дня. Утверждал, что “мы только праздники побездельничаем, а там за работу”. Журнал. Вот что не давало ему покоя. Ничего, скоро приедет Наседкин, и они начнут выпускать номера.

Кто бы ему объяснил, что не на кого рассчитывать, что всё рухнет, что взявшие на себя роль его “покровителей” проваливаются с треском?

Итак, первое: журнал. Как бы тяжело ни стало в какую-то минуту на душе, но полезть в петлю, отказавшись от своей заветной мечты, когда, казалось, так близко её осуществление? Странно!

(А вот что об этом же пишет Прилепин:

“Итак, что будет в журнале?

Стихи Есенина, Наседкина, Грузинова. Статья Есенина и статья Грузинова. Репродукции картин Петра Кончаловского. Статья Дмитрия Кончаловского о современной живописи.

...Это всё ничего не значило.

Журнал он не смог выпустить и в куда более благоприятные годы, при полном содействии тогда ещё всесильного Троцкого и при разрешении Накорякова. Эти мечтания не столько говорят о возможных перспективах Есенина, сколько вопиют об отсутствии всяких перспектив.

Какой, боже мой, журнал?

Какая статья Есенина?

Последнюю опубликованную статью Есенин написал в 1921 году!”

Прекрасно Вы знаете, Захар, при каких обстоятельствах Есенин отказался выпускать журнал под эгидой Троцкого и почему он это сделал. В то же время мечта о своём журнале не покидала его до конца дней (вспомните варианты названий: “Вольнодумец”, “Россияне”, “Поляне”...) И это, по-Вашему, ничего не значило?! “Буду работать, как Некрасов”, – вспоминал есенинские слова Иван Грузинов. Аргумент тоже хорош по поводу “последней опубликованной статьи” в 1921 году. А когда последняя была написана (что гораздо важнее)? Начатые и незаконченные статьи относятся к концу 1923-го – 1924 году. И все эти тексты сохранились, что говорит о одном: Есенин собирался продолжить работу над своим изданием в Ленинграде под присмотром Кирова и Чагина. Кстати сказать, что-то из написанного он также вполне мог взять с собой, то, что не было обнаружено в номере после его гибели.)

Он сидел за столом, накинув шубу, и просматривал старые стихи. Это был один из экземпляров собрания, том, взятый им с собой. Ещё ведь предстоит работа над гранками.

Полностью углубился в чтение... Этого собрания он ждёт до нервной дрожи... И, не дождавшись, головой в петлю? Несерьёзно.

Одно из двух: либо неудачная шутка, окончившаяся трагически, либо убийство, происшедшее в эти два-три часа, начиная с 8 вечера.

Однако... на полу сгустки крови, в номере царит страшный разгром, ключья рукописей и окурки валяются на полу (это при его всегдашней аккуратности во время работы!), свежая рана на правом предплечье, синяк под глазом и большая рана на переносице...

И, наконец, в ожидании нападения из-за угла Есенин всегда в последний год носил с собой револьвер, который привёз с Кавказа. Судя по тому, как Есенин уезжал в Ленинград, естественно предположить, что оружие он взял с собой: ясно ведь, что ощущение опасности не отступило, а ещё более усилилось. И — обречь себя на мучительную смерть в петле, когда проще простого поднести дуло к виску?

Револьвер не был найден работниками милиции, но это ничего не значит. К моменту их приезда из номера уже кое-что пропало.

“Когда нужно было отправить тело в Обуховку, не оказалось пиджака (где он, так и не известно). Устинова вытащила откуда-то кимоно, и, наконец, Борису Лаврентеву пришлось написать расписку от правления Союза писателей на взятую для тела простыню (последнее мне рассказывал вчера вечером сам Борис)...” Это дневниковая запись Иннокентия Оксёнова, помеченная 29 декабря 1925 года.

Очевидно, что пиджак тщетно пытались разыскать, зная о его существовании, — иначе его отсутствия никто бы не заметил. В этой связи обращает на себя внимание и воспоминание Вольфа Эрлиха о последних минутах, когда он видел Есенина живым.

“Часам к восьми... я поднялся уходить. Простились. С Невского я вернулся вторично: забыл портфель...”

Есенин сидел у стола спокойный, без пиджака, накинув шубу, и просматривал старые стихи. На столе была развёрнута папка. Простились вторично”. Эрлих едва ли обратил бы внимание на то, что Есенин сидел без пиджака, если бы этой детали костюма в номере не было вообще. Этот злосчастный “пиджак, висящий на спинке стула”, появился в мемуарах Всеволода Рождественского через 20 лет после того, как мемуарист утром 28-го числа появился на пороге гостиницы, взбудораженный вестью о происшедшей трагедии.

Летом 1925 года Есенин анонсировал в журнале “Книга о книгах” повесть о беспризорниках под названием “Когда я был мальчишкой...”. Об этой повести он говорил, в частности, Елизавете Устиновой в “Англетере”, причём, по её словам, “обещал показать через несколько дней, когда закончит первую часть...”

Никаких следов этой повести обнаружено не было так же, как и поэмы “Пармён Крямин”... Можно ли всё это принять за есенинскую мистификацию? Тогда как быть с исчезнувшим текстом поэмы “Гуляй-поле”? И что уж точно не было мистификацией — стихи “зимнего цикла”, написанные в больнице у Ганнушкина. Кое-какие строчки запомнили Наседкин и Толстая, причём Толстая утверждала, что стихи эти Есенин забрал с собой в Ленинград.

(По этому поводу у Прилепина есть своё мнение, даром что ничем не подтверждённое, но — не важно.

“Обещал в Госиздате пятисотстрочную поэму “Пармён Крямин”, но это же всё умственные вариации на тему Прона Оглоблина — одного из главных героев “Анны Снегиной”. Он даже не приступал к ней. Он сразу читал написанное хоть кому-нибудь, но о “Пармёне Крямине” не слышали ни Бениславская, ни Толстая, ни Берзинь.

Всё, что имелось, он, оставив надежду завершить, отнёс к Изрядновой в печь.

Наставала пора прощаться — и всё делать в последний раз. Как-то рано утром нагрянул к Анне Изрядновой: срочно решил сжечь какие-то рукописи.

Такое ощущение, что уже начал подчищать итоги жизни, чтобы ничего лишнего не осталось.

Две начатые повести (по несколько страничек о собственном детстве и о беспризорниках), наброски к поэме о беспризорниках, фрагменты про Махно из “Гуляй-поля” — всё это исчезло бесследно.

Но ведь было же! И, судя по всему, хранилось в доме Толстой...”

Во-первых, с чего Вы, Захар, взяли, что Есенин “даже не приступал” к “Пармёну Крямину”? Во-вторых, откуда Вы знаете, что именно сжёг Есенин на квартире Анны Изрядновой, сжёг второпях, — “не успокоился, пока всё не сжёг”, как вспоминала она сама, — как будто опасаясь реальной слежки за собой? А если Вы сами пишете о других неизвестных текстах — “было же!” — почему Вы полагаете, что эти рукописи Есенин не взял с собой в Ленинград?)

Стоит, наверное, внимательно прочесть следующий “Акт осмотра переписки”, найденной в чёрном кожаном чемодане, оставшемся после смерти Есенина. Присутствовали при его составлении Зинаида Николаевна Мейерхольд-Райх, секретарь суда М. Е. Константинов, член коллегии защитников А. Н. Мещеряков. Акт был составлен 22 апреля 1926 года.

“Среди переписки, находящейся в чемодане, оказались следующие бумаги, написанные рукой Есенина.

1. *Обрывки доверенностей на имя гр-на Эрлиха.*
2. *3 обрывка стихов.*
3. *Рукопись стихов без подписи с 3 по 32 стр. включительно, начиная со стихотворения “Девичник” и кончая оглавлением.*
4. *Позма, напечатанная на машинке, под заглавием “Анна Снегина”, с поправками, написанными рукой Есенина.*
5. *Договор с издательством Гржебина от 18 мая 1922 года.*
6. *4 фотографические карточки”.*

Что и говорить, солидное количество бумаг было взято с собой писателем и будущим издателем журнала при переезде в другой город на постоянное место жительства! Это при том, что в номере было обнаружено ещё несколько чемоданов с обувью и одеждой, принадлежавших Есенину.

Теперь посмотрим, что пишет Всеволод Рождественский: “Чемодан Есенина, единственная его личная вещь (ошибка Рождественского. — **Ст. и С. К.**), был раскрыт на одном из соседних стульев. Из него клубком глянцевиных, переливающихся змей вылезали модные заграничные галстуки. Я никогда не видел их в таком количестве. В белесоватом свете зимнего дня их ядовитая многоцветность резала глаза неуместной яркостью и пестротой”.

Итак, чемодан раскрыт. И, как можно понять по свехосторожному описанию Рождественского, вещи были вывалены на пол. Впрочем, ещё более яркую картину обстановки 5-го номера после происшедшей трагедии рисовали авторы газетных заметок: “В комнате стоял полнейший разгром. Вещи были вынуты из чемодана, на полу были разбросаны окурки и клочки разорванных рукописей...”

Ещё более конкретизировал увиденное в 5-м номере “Англетера” утром 28 декабря санитар Казимир Маркович Дубровский. Рассказывал он, правда, уже через много лет, пережив несправедливый арест, заключение в лагере и как бы всё ещё опасаясь проронить лишнее: “Там на полу лежала скатерть, битая посуда. Всё было перевёрнуто. Словом, шла страшная борьба...” В другой раз с его же слов стало известно, что “в номере С. Есенина были следы борьбы и явного обыска. На теле были следы не только насилия, но и ссадины, следы побоев. Кругом всё разбросано, раскидано, битые разбросанные бутылки, окурки...”

Дубровский так и не сообщил, почему его подписи нет ни на одном из документов, составляющих “дело о самоубийстве С. Есенина”, что за врач осматривал тело погибшего поэта на месте происшествия, на каком основании был сделан вывод, о котором сообщали газеты: “. . . смерть наступила за 6-7 часов до обнаружения трупа” (по другим сведениям, за 5-6 часов) и почему время наступления смерти не зафиксировано в акте судебно-медицинской экспертизы. Известно только, что престарелый, много переживший санитар произнёс незадолго до смерти: “Я ни за что сидел, а за что-то тем более не хочу...”

* * *

А кто же из работников правоохранительных органов составлял акт о происшедшем? Отвечая на этот вопрос, придётся отмечать сплошные несуразности и нелепости, наслаивающиеся одна на другую.

В гостиницу утром 28 декабря выезжал агент уголовного розыска 1-й бригады (занимавшейся только расследованием убийств!) Ф. Иванов. Его подписи, тем не менее, нет ни на одном документе. Протокол же осмотра места происшествия составлял учнадзиратель 2-го отделения милиции Н. Горбов, бывший сотрудник административно-секретного отделения УГРО, проработавший к этому времени в отделении милиции около шести месяцев. Человек

полуграмотный, не знакомый с элементарными правилами описания места происшествия (можно ли в это поверить, говоря о работнике УГРО с трёхлетним стажем работы!), он и составил соответствующий “Акт”:

Акт о самоубийстве Есенина. Составил участковый надзиратель 2-ого отделения Ленинградской милиции 28 декабря 1925 г. Ручкой участкового надзирателя Н. Горбова.

28 декабря 1925 года составлен настоящий акт мною, участковым надзирателем 2-ого отд. ЛГМ Н. Горбовым в присутствии управляющего гостиницей “Интернационал” тов. Назарова и понятых. Согласно телефонного сообщения управляющего гостиницей гражданина Назарова Василия Михайловича о повесившемся гражданине в номере гостиницы. Прибыв на место, мною был обнаружен висевший на трубе центрального отопления мужчина в следующем виде: шея затянута была не мёртвой петлёй, а только одной правой стороной шеи, лицо было обращено к трубе и кистью правой руки захватился за трубу, труп висел под самым потолком и ноги от пола были около 1,5 метров, около места, где обнаружен был повесившийся, лежала опрокинутая тумба, а канделябр, стоящий на ней, лежал на полу. При снятии трупа с верёвки и при осмотре его было обнаружено на правой руке выше локтя с ладонной стороны порез, на левой руке на кисти царапины, под левым глазом синяк, одет в серые брюки, ночную белую рубашку, чёрные носки и чёрные лакированные туфли. По представленным документам повесившийся оказался Есенин Сергей Александрович, писатель, приехавший из Москвы 24 декабря 1925 года. Удостоверение ГЦ № 42-8516 и доверенность на получение 640 рублей на имя Эрлиха.

Управляющий – Назаров

Понятые – В. Рождественский, П. Медведев, М. Фроман

Милиционер – <нрзб.>шинский

Уч. надз. 2-ого отд. ЛГМ Н. Горбов.

Итак, вырисовывается довольно странная картина. Синяк под левым глазом, странная петля (не удавная!), предназначенная, похоже, лишь для того, чтобы удерживать тело в висачем положении, рука, обхватившая трубу парового отопления, – всё это должно было породить определённые сомнения, по крайней мере, натолкнуть участкового надзирателя на мысль о необходимости тщательного расследования происшедшего. Но участковый надзиратель недрогнувшей рукой выводит: “Акт о самоубийстве”. Не говоря уже о том, что осмотр места происшествия проведён крайне небрежно, точнее, он просто отсутствовал как таковой.

Современные юристы утверждают, что “дознание по факту смерти поэта С. Есенина проводилось в соответствии с действовавшим уголовно-процессуальным законодательством” и что “допущенные неполнота и низкое качество документов дознания” не противоречат законности “прекращения производства дознания по факту самоубийства С. А. Есенина”. Допустим, что с точки зрения юридической дотошности эти утверждения справедливы, тем более что анализировались только документы “дела” без привлечения анализа сопутствующих фактов и каждый из специалистов – будь это почерковеды, врачи-патологоанатомы или работники Генеральной прокуратуры – работал над документом, имеющим прямое отношение только к его профессиональной области. Подобная методика анализа, бесспорно, имеет свои плюсы. Но нельзя не отметить, что минусов у неё никак не меньше.

Имел ли милиционер Горбов вообще какое-либо понятие о той работе, которую по чьему-то приказу исполнял в 5-м номере “Англетера”? Можно лишь отметить, что не было сделано при составлении первоначального “акта”, таковое и относится как раз к азбуке следственной работы.

В № 9 журнала ленинградской губмилиции “На посту” за 1925 год указано, что в конце 1922 года отделом управления Ленинградского Совета была утверждена программа предметов и занятий для агентов уголовного розыска, в которую, в частности, входил научный розыск, включавший дактилоскопию, все виды экспертизы, осмотр места происшествия, закрепление следов... Ни дактилоскопии, ни закрепления следов в данном случае мы не имеем. Может быть, бывшего агента уголовного розыска сему не учили? Позволительно в этом усомниться. Но если даже так, то почему на место происшествия не был вызван профессионал в данной области? Может быть, потому, что он там

оказался бы совершенно некстати? И чем же занимался в номере вызванный туда ещё один агент УГРО Ф. Иванов?

Ещё более “интересно” начинает выглядеть эта ситуация с отсутствием следствия как такового и с “дознанием”, ведшимся “безграмотными” милицейскими работниками, если мы обратимся к № 11 всё того же журнала “На посту” за 1925 год. В нём опубликован очерк “Паутина”, где описывается случай самоповешения, расследуя который, следователи с первых же шагов (!) заподозрили замаскированное убийство. И автор очерка подробнейшим образом описывает кропотливую работу следователей, распутывающих этот “узелок”, причём в принципе не даёт возможности усомниться в их весьма высокой квалификации (даром, что версия убийства в конце концов оказалась ошибочной).

На что, в первую очередь, обращает внимание профессионал при расследовании дела о самоубийстве через повешение? На орудие самоубийства – верёвку, шнур, в нашем случае – ремень от чемодана. Узел, которым затянута петля, его характерные признаки – вот что, в первую очередь, попадает в поле зрения следователя. Естественно, проводится и дактилоскопия. Здесь же оказалось вполне достаточно замечания учнадзирателя, что “шея затянута была не мёртвой петлёй, а только одной правой стороной шеи...”. Вполне возможно, что профессионал мог бы по этой косноязычной фразе реконструировать положение петли или отсутствие её как таковой (что мы и предполагаем). Проверить сие, однако, уже не представляется возможным. Последнее упоминание об этом злосчастном ремне от чемодана мы находим в “Четвёртой прозе” Осипа Мандельштама.

“В Доме Герцена один филолог с головёнкой китайца, некий ходя, хао-хао, шанго-шанго, из тех, что ходят по кровавой советской земле, некто Митька Благой – лицейская сволочь, разрешенная большевиками для пользы науки, – сторожит в литературном музее верёвку давленника Серёжи Есенина...”

После закрытия “дела” все материалы поступили в “Музей Есенина”, для которого собирали материалы Дмитрий Благой и Александр Воронский. А после погромной статьи Николая Бухарина “Злые заметки” этот музей был закрыт. Большая часть его материалов, включая и материалы “дела”, в конце концов, оказалась в архиве Института мировой литературы. Ремень, обвинивший шею поэта в страшную ночь в “Англетере”, исчез бесследно. Куда? Где он находится ныне, если, конечно, сохранился? На эти вопросы ответа, увы, нет.

Более чем странное впечатление оставляет история с фотографиями номера гостиницы и безжизненного тела поэта, отснятыми утром 28 декабря. Делал их не фотограф-криминалист, а специалист по художественной (!) фотографии Моисей Наппельбаум. Не известно, кем и с какой стати он был вызван в “Англетер”, когда тело погибшего ещё не вынули из петли. Непонятно также, откуда возникла версия, что сын Наппельбаума снимал тело с трубы парового отопления. На самом деле выполнил это упомянутый Дубровский, и уже после портретист сделал свои известные снимки.

Кто его на это уполномочил? В неприкосновенном ли виде был снят номер или, как можно предположить, после “уборки”? И как в связи со всем вышесказанным относиться к свидетельству одной из дочерей Наппельбаума Ольги Грудцовой, которая написала в своих мемуарах, что её отец отказался (!) делать снимки в “Англетере”? И, наконец, был ли сам Наппельбаум работником “органов”? Получим ли мы когда-нибудь удовлетворительные ответы на все эти вопросы?

* * *

Помимо всего прочего, трудно представить соответствие “с действовавшим уголовно-процессуальным законодательством” очевидной фальсификации в протоколе Горбова. В качестве понятых расписались Всеволод Рождественский, Павел Медведев и Михаил Фроман, которые перешагнули порог 5-го номера уже после того, как тело поэта было вынуто из петли, и которые, соответственно, никак не могли видеть “висевшего на трубе центрального отопления мужчину”.

(Ещё один очевидец, зарисовавший Есенина сразу после того, как тело поэта было вынато из петли, – Василий Сварог. Его соображения по поводу увиденного, записанные журналистом Алексеем Костылёвым, Захар Прилепин отвергает с порога. Допустим, нелегко доверять словам, переданным из вторых или третьих рук. Но рисунок Сварога – подлинный. Тут уж никаких сомнений быть не может. И возникает вполне логичный вопрос: как сопоставить изображённого на рисунке почти растерзанного (в буквальном смысле слова) поэта с фотографиями Наппельбаума, на которых тело уже приведено в “порядок”?)

А теперь снова обратимся к дневнику Иннокентия Оксёнова:

“Номер был раскрыт. Направо от входа, на низкой кушетке лежал Сергей в рубашке, подтяжках, серых брюках, чёрных носках и лакированных лодочках. Священнодействовал фотограф Наппельбаум – спокойный мужчина с окладистой бородой. Помощник держал слева от аппарата чёрное покрывало для лучшего освещения. Правая рука Есенина была согнута в локте на уровне живота, вдоль лба виднелась багровая полоса (ожог от накалённой трубы парового отопления, о которую он ударился головой?), рот полуоткрыт, волосы страшным нимбом вокруг головы, развившиеся.

Хлопотала о чём-то Устинова. Пришли Никитин, Лавренёв, Семёнов, Борисоглебский, Слонимский (он плакал), Рождественский. Тут же с видом своего человека сидел Эрлих. . .

Понесли мы Есенина вниз – несли Рождественский, Браун, Эрлих, Лавренёв, Борисоглебский и я – по узкой чёрной лестнице во двор, оттуда на улицу, положили Сергея в одной простыне на дровни (поехал он в том, что на нём было надето, только лодочки, по совету милиционера, сняли – “наследникам пригодятся”. Хороший милиционер, юный, старательный). Подошла какая-то дама в хорьковой шубе, настойчиво потребовала: “Покажите мне его”. И милиционер бережно раскрыл перед нею мёртвое лицо. Лежал Есенин на дровнях головою вниз, ничего под тело не было подложено. Милиционер весело вспрыгнул на дровни, и извозчик так же весело тронул. Мы разошлись, и каждый унёс в себе злобу против кого-то, погубившего Сергея”.

Страшная картина, которую Оксёнов воссоздаёт в своём дневнике, всё же не повлияла на способность писателя делать определённые выводы. Что-то подозрительное почудилось ему во всём, что он видел. “. . . Каждый унёс в себе злобу против кого-то, погубившего Сергея”. Что Оксёнов имел в виду? В переносном ли смысле употребил он сию фразу? Это остаётся загадкой. Но что-то среди увиденного определённо натолкнуло его, и, очевидно, не только его, на мысль: здесь не чисто. Ясно чувствуется подозрение, что здесь не обошлось без чужих рук.

Это первая мысль, которая приходит в голову при чтении оксёновского дневника. Попутный сбор информации позволяет выявить ещё некоторые интересные детали.

Из писателей, присутствовавших тогда в “Англетере”, по крайней мере, двое (это известно с абсолютной достоверностью) были секретными агентами ОГПУ, а позже НКВД – Павел Медведев и Михаил Борисоглебский. Обращает на себя внимание и тот факт, что никто из действительно близких Есенину ленинградских писателей (Клюев, Садофьев, Правдухин) не переступил порога гостиницы в то роковое утро. Как об исключении можно сказать о Всеволоде Рождественском, если бы не его пространные мемуары, где реальные факты тонут в пышной беллетристике, и не его репутация махрового лгуна-вспоминателя. Создается впечатление “отобранности” писательской делегации, члены которой должны были удостоверить своими подписями в протоколе то, чего они не видели и не могли видеть собственными глазами.

Эрлих, “сидевший с видом своего человека”, в отличие от хлопчущей Устиновой, особенно резко выделялся на фоне убитых горем пришедших. Он уже дал самые пространные показания, всё засвидетельствовал, обо всём рассказал и присутствовал чуть ли не в качестве “официального лица”. Никакого намёка на переживание происшедшего Оксёнов на его лице, судя по всему, не заметил.

(Когда мы писали эту биографию, ещё не были известны многие факты и документы, в частности, воспоминания Николая Минха о встречах и беседах с Николаем Клюевым. Самое время упомянуть о них, тем более что Прилепин пишет о Клюеве в заключительной главе своей книги следующее:

“В самоубийстве Есенина не сомневался никто. Такого человека в 1925 году в России и за её пределами не было. По крайней мере, сведений об этом никаких.

Два главных его – во всю жизнь – друга вскоре произнесли своё слово.

Клюев сочинил великие стихи, Мариенгоф – не великие, но сути это не меняет.

У Клюева в 1926 году напишется “Плач о Есенине” – он всё там объяснил”.

По поводу того, что “в самоубийстве Есенина не сомневался никто” – разговор отдельный. Но “Плач о Сергее Есенине” (именно так называется поэма) далеко не столь однозначен (мягко говоря!), как Вы, Захар, пытаетесь представить. Достаточно вспомнить, что первым эпиграфом к нему предпосланы слова “Плача Василька, князя Ростовского”, замученного безбожными татарами:

*Младая память моя железом погибает,
и тонкое моё тело увядает...*

Случайно? Бывает ли что-либо случайное у подлинных поэтов? И не говорят ли о мучительных сомнениях самого Клюева строки:

*О жертве вечерней иль новом Иуде
Шумит молочай у дорожных канав?*

Всё объяснил?..

Прилепин пересказывает запись в дневнике Роберта Куллэ, балансируя между доверием и недоверием к нему. “Якобы (Клюев. – С. К.) зашёл к нему в пропахший пьянством номер, оглядел эти столы, уставленные бутылками, и, догадавшись обо всём по глазам своего соколика, сказал:

– Делай, что задумал, и скорей.

После чего сразу ушёл.

Почти наверняка не было этого ничего, потом сочинил.

...А вдруг было?”

Зачем же так, Захар? Давайте всё же отнесёмся к этому тексту более добросовестно. Хотя бы процитируем дальше: “Около 2 часов> ночи Клюев подходил под окна гостиницы и видел свет люстры в номере. Он полагал, что там вновь началась оргия, и ушёл. Утром узнал о самоубийстве, совсем не неожиданном для него...”

А теперь сопоставим этот рассказ с рассказом Клюева Николаю Минху: “...Накануне его смерти меня точно кто толкнул к нему. Пошёл я к нему в гостиницу. В “Англетер” этот. Гляжу, в номере дружки его сидят. На столе коньяки, закуски. На полу хлеб, салфетки валяются. Кого-то, видать, мутило. В свином хлеву чище! Ох, думаю, зря пришёл! Дружки его увидели меня и, как жеребцы, заржали: “Кутя пришёл! Кутя!” Я их спрашиваю: “Серёженька-то где?” А они толкать меня в дверь зачали. “Иди, – говорят, – старик! Иди! Он ушёл и придёт не скоро. Баба его увела”.

А на кровати, смотрю, вроде человек лежит. Одеялом с головой укрыт. Храпит вроде. Я хотел было глянуть, кто это, да они меня не допустили. Взащей выгнали... А наутро слышу: Серёженька повесился!..”

Это всё происходило уже после ухода из есенинского номера и Устинова, и Эрлиха – оба вспоминали, что Есенин в эти последние часы был абсолютно трезв и спокоен... После восьми вечера в номер нагрянула некая компания (из кого она состояла – не известно по сей день) с алкоголем и – явно для приватного разговора... О чём он мог быть? И откуда могли явиться эти люди? Тут впору вспомнить, что, как писала в своих воспоминаниях Елизавета Устинова (воспоминаниях, очевидно, просмотренных и отредактированных её мужем Георгием), Есенин “запретил портье пускать кого бы то ни было к нему, а нам объяснил, что так ему надо для того, чтобы из Москвы не могли за ним следить”. “Из Москвы” – намёк мог быть только на людей, непосредственно принимавших участие

в партийной схватке на XIV съезде, соответственно, на ближайшее окружение партийных вождей...

Так или иначе — Клюева выпроводили вон, не дав ему поднять одеяло с головы лежащего Есенина (был ли он ещё жив в эти минуты? И слышал Клюев “храп” или предсмертный хрип?). Нетрудно предположить, что могло бы произойти с самим Клюевым, попытайся он открыть лицо своего друга (и ведь чувствовал, чувствовал он смертельную опасность, разлитую в воздухе, ещё когда прощался с Сергеем!). Что же это были за персонажи сей кровавой истории? Кого же из них так “мутило”, у кого не выдержали нервы?)

* * *

Отвлечёмся пока от свидетельских показаний и анализа деталей случившегося. Самое время поговорить о “предсмертном” стихотворении. Написанное кровью, оно стало поводом для обывательских пересудов и газетных материалов, явно отдающих бульварщиной. А самое главное, именно оно послужило для миллионов людей — от членов правительства до крестьян и рабочих — главным свидетельством того, что Сергей Есенин, без сомнения, покончил жизнь самоубийством. Ведь текст этого стихотворения воспринимался именно в контексте подробных описаний произошедшего в “Англетере”, вплоть до того, что сообщалось, как Есенин писал эти стихи перед тем, как “вскрыть вены” и залезть в петлю... Время не внесло никаких коррективов в восприятие этих восьми строк, и ныне люди, убеждённые в версии самоубийства поэта, ссылаются именно на последние стихи. Перечитаем же их ещё раз:

*До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.*

*До свиданья, друг мой, без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей, —
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.*

В таком виде текст этого стихотворения известен всем и перепечатывался из одного собрания в другое. Однако с текстологией его связана весьма интересная история.

Впервые оно появилось в печати 29 декабря 1925 года в вечернем выпуске “Красной газеты” в тексте статьи Георгия Устинова “Сергей Есенин и его смерть”. Причём пятая строчка в некрологе читалась: “До свиданья, друг мой, без руки и слова...” Второй предлог “без” написан крайне неразборчиво и при чтении оригинала создаётся впечатление, что он был замазан. Устинов прочёл строку по-своему и в своём прочтении пустил её в печать. Так стихотворение с искажённой строкой публиковалось вплоть до 1968 года (единственное исключение — “Избранное” 1946 года, составленное Софьей Толстой, где строка была напечатана в своём изначальном виде).

Однако при внимательном чтении оригинала бросается в глаза вторая строка, которая читается опять же несколько иначе, чем в напечатанном виде. Третье слово второй строки отчётливо прочитывается, как “чти”, а не “ты”. А следующий предлог “у” носит характер явного исправления. Очевидно, поначалу было написано “и”, и вся строка должна была читаться “чти и меня в груди”... Потом “и” было исправлено на “у”, в соответствии с чем логично было бы прочесть первые две строки в таком виде:

*До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, что у меня в груди.*

“И”, однако, в третьем слове не было исправлено на “о”, и строчка осталась прежней: “чти у меня в груди”. Смысловое несоответствие было устранено публикатором, ничтоже сумняшеся заменившим явственно видимое

“чти” на “ты”. В результате мы получили связный и грамотный текст, но не соответствующий тому, что на самом деле написал Есенин.

Создаётся впечатление недоработанности, неотделанности стиха. Как же он создавался за неизвестное количество часов до гибели?

Эти два четверостишия были записаны утром 27 декабря. О дальнейшем рассказывал Эрлих:

“Есенин нагибается к столу, вырывает из блокнота листок, показывает издали: стихи. Говорит, складывая листок вчетверо и кладя в карман моего пиджака:

— Тебе.

Устинова хочет прочесть.

— Нет, ты подожди! Останется один, прочтает”.

Эрлих вспомнил о стихах только на следующий день после гибели Есенина. Ну, а если предположить, что это произошло бы вечером того же дня и, оставшись в одиночестве, он прочитал бы их? Увидел бы он в этих восьми строках предсмертную записку? Воспринял бы их как предупреждение о возможном расставании с жизнью? Да ни в коем случае!

Эти восемь строк, волею судьбы ставшие последними для Есенина, представляют собой поэтический экспромт, написанный “на случай”. Сергей сунул стихи в карман приятеля как своеобразный подарок, из чего ни в коем случае нельзя делать вывода, что строки, написанные на этом листке, посвящены какому-либо конкретному человеку. “Друг мой” — это словосочетание кочует в последние годы жизни Есенина из одного стихотворения в другое, причём встречается оно, как правило, в стихах, проникнутых ощущением страшного одиночества. “Пой, мой друг. Навейай мне снова нашу прежнюю буйную рань...”, “Кто же сердце порадует? Кто его успокоит, мой друг?..”, “Друг мой, друг мой, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль...”

Экспромтов такого рода, о которых Есенин говорил при встрече Николаю Асееву (“Ты думаешь, легко всю эту ерунду писать?”), поэт написал в последние месяцы своей жизни более десятка. Рождались они совершенно спонтанно, словно уже давно сложились в голове, и записаны были набело, без единой пометки. Писались они подчас и так, как об этом рассказывала Софья Толстая: “Все эти стихи записаны мною за Сергеем в туманный октябрьский рассвет. Он проснулся, сел на кровати и стал читать стихи. Не видел, что я пишу. После я сказала, он просил их уничтожить”. Речь идёт о стихах “Ты ведь видишь, что небо серое...”, “Ты ведь видишь, что ночь хорошая...”, “Сани. Сани. Конский бег...”, “Ночь проходит. Свет потух...”, “Небо хмурое, небо сурится...”.

Есть нечто, объединяющее все есенинские экспромты последних месяцев его жизни, — предчувствие близкой гибели. “Мчится на тройке чужая младость. // Где моё счастье? Где моя радость?..”, “Неудержимо, неповторимо // всё пролетело... далече... мимо...”, “Кругом весна, и жизнь моя кончается...” Временами ощущение близкого конца нагнетается и становится почти осязаемым:

*Сочинитель бедный, это ты ли
Сочиняешь песни о луне?
Уж давно глаза мои остыли
На любви, на картах и вине.*

*Ах, луна влезает через раму,
Свет такой, хоть выколи глаза...
Ставил я на пиковую даму,
А сыграл бубнового туза.*

Среди экспромтов выделяется одно четверостишие, в котором это ощущение выражено, пожалуй, наиболее остро, острее, чем в последнем восьмистишии.

*Снежная равнина, белая луна,
Саваном покрыта наша сторона.*

*И берёзы в белом плачут по лесам.
Кто погиб здесь? Умер? Уж не я ли сам?*

Это четверостишие написано в ноябре 1925 года. Что в нём? Предчувствие того, что часы сочтены. Достаточно сопоставить эти стихи с “предсмертным стихотворением” “До свиданья, друг мой, до свиданья...”, чтобы понять, что прочитываются они в едином контексте и что нет в этих строках никакого намёка на добровольное расставание с жизнью. “Предназначенное расставанье” – рука судьбы, от которой не уйдёшь.

Почему словосочетание “предсмертное стихотворение” взято нами в кавычки? А потому, что есть веские основания говорить о том, что стихотворение это было написано не 27 декабря 1925 года, а гораздо раньше... Небезынтересен и ещё один факт, о котором упоминает графолог Д. М. Зуев-Инсаров в книге “Почерк и личность”, вышедшей первым изданием в 1927 году. “Исследование почерка Есенина сделано мною за несколько дней до его трагического конца по просьбе ответственного редактора издательства “Современная Россия”, поэта Н. Савкина”. Значит, за несколько дней до рокового 27 декабря текст этого стихотворения (оригинал!) был уже в руках у Савкина, а затем у графолога. Если Эрлиху был передан ещё один текст, написанный рукой Есенина, то куда же делся первый? И когда же оно, в конце концов, было написано на самом деле?

Вопросов здесь по-прежнему больше, чем ответов.

Есенин с его импульсивной натурой и кипучим темпераментом не мог ждать ни одной минуты после того, как стихотворение окончательно было сложено или возник новый вариант. Он стремился записать его мгновенно, не считаясь ни с чем. Бывали случаи, когда под рукой не оказывалось ни карандаша, ни чернил, он разрезал себе руку и писал собственной кровью.

И первым таким стихотворением было “Поэтам Грузии”.

(Уже после написания и издания книги мы пришли – наравне с другими исследователями – к однозначному выводу: это стихотворение было обращено к расстрелянному в марте 1925 года по делу “Ордена русских фашистов” Алексею Ганину. Более того, есть серьёзные основания утверждать, что это недатированное стихотворение было написано не в декабре 1925 года, а ранее. В составленной племянницей поэта Светланой Петровной Есениной – никогда не верившей в самоубийство своего великого родственника – книге “Не умру я, мой друг, никогда...” в материале Владимира Паршикова приводятся интереснейшие факты, касающиеся этого легендарного восьмистишия:

“В 1991 году... Сергей Чугунов (исследователь жизни и творчества Есенина. – С. К.) получает от своего товарища Макова ценные сведения, касающиеся истории создания “До свиданья, друг мой, до свиданья...”. Он пишет: “Хочу поведать тебе одну тайну. Так вот: 17 или 18 августа 1951 года я со своей художественной студией плавал на пароходке в село Константиново. Зашли в домик Есенина. Посидели за есенинским столом, а его мама Татьяна Фёдоровна рассказала о жизни сына. И вот она взяла со старого комода, по-моему, небольшую книжку и вынула из неё стихотворение “До свиданья, друг мой, до свиданья...”, написанное на посеревшей бумаге карандашом, а не кровью, как утверждают некоторые. Там было много исправлений – я убеждён, что это оригинал Есенина. Татьяна Фёдоровна сказала, что это стихотворение Сергей написал в последний приезд в Константиново в сентябре 1925 года, посвятив его кому-то из умерших друзей-поэтов. Мать Есенина тогда уверяла, что это истинная правда – стихотворение написано задолго до его трагической смерти; она утверждала, что “Серёженьку убили злые люди” и даже заплакала!”

Проще – и естественнее всего – спросить: ну, и где этот карандашный автограф? Проще всего ответить – был утрачен. Во всяком случае, мы имеем только один автограф восьмистишия, написанный якобы в “Англетере” и хранящийся в Пушкинском Доме.

Но не оставляет в покое вопрос: почему Эрлих, якобы получивший этот автограф из рук Есенина, ни словом не обмолвился о нём в своих показаниях?

Забыл? Или есть другая причина?

Захар Прилепин настаивает на необходимости внимательно читать Есенина. Тут ему и карты в руки. Продолжим цитату из Владимира Паршикова:

“Исключительность каждого слова в есенинских произведениях подтверждают и филологические исследования. “Предназначенное расставанье” не может быть самоубийством”, – утверждает Борис Конухов в статье журнала “Наш современник”: “День сведения счётов с жизнью, конечно, можно назначить, но его нельзя предназначить. Предназначают до нас, за нас, и делает это сила выше нас. Верующие называют эту силу Божьим Промыслом или Судьбой. Самоубийство – преступление и против Бога, и против Судьбы. И оно не может быть предназначено. Есенин не забывал церковной традиции и знал цену слов”....”)

* * *

Слово “самоубийство” было произнесено фактически в момент обнаружения тела. Дальше началась “бурная деятельность”, в процессе которой, дополняя и перебивая друг друга, на эту версию работали все: жильцы “Англетера”, милиционеры, проводившие “дознание”, журналисты, в самых приукрашенных подробностях расписавшие происшедшее, и, наконец, судмедэксперт А. Гиляревский, принявшийся за исполнение своих обязанностей вечером 29-го числа, когда вывод о “самоубийстве поэта С. Есенина” уже был сделан как милицией, так и органами печати.

“Акт”, составленный Гиляревским, уже не единожды приводился как в повреждённом, так и в целостном виде и рассматривался со всех сторон профессионалами судебной медицины и дилетантами в этой области. Нам остаётся только процитировать несколько строк из заключительной части документа:

“На основании данных вскрытия следует заключить, что смерть Есенина последовала от асфиксии, произведённой сдавливанием дыхательных путей через повешение. Вдавление на лбу могло произойти от давления при повешении... .

Раны на верхних конечностях могли быть нанесены самим покойным и, как поверхностные, влияния на смерть не имели”.

Там же, в “акте”, указывалось, что “покойный в повешенном состоянии находился продолжительное время”, но какое именно время – ни слова! А ведь это одна из главных задач судмедэксперта – установление часа наступления смерти.

Впрочем, мы задаём лишь вопросы, которые лежат, что называется, на поверхности.

На самом деле их куда больше. Приведём достаточно красноречивый пример. Обнаруженные копии других актов вскрытия, составленных Гиляревским, весьма существенно отличаются от акта вскрытия тела поэта даже по форме их составления, не говоря уже о содержании. В них гораздо более подробно описаны характерные медицинские признаки (не в пример интересующему нас “акту”), они снабжены необходимой числовой нумерацией (которая в нашем случае также отсутствует). Возникает логичный вопрос: сам ли Гиляревский составлял названный “акт”? И если сам, то почему открываются такие существенные разночтения в документах, составленных им примерно в одно и то же время?

(Кстати сказать, экспертизы почерка известного нам “акта” на принадлежность его Гиляревскому не проведено до сих пор. Захар Прилепин чрезвычайно пренебрежительно пишет о книге Виктора Кузнецова “Тайна гибели Есенина”: “Давайте выскажемся аккуратно: ничто из написанного в книге Кузнецова на данный момент не имеет документальных подтверждений. Никаких. Это просто бесконечный ряд допущений”.

Что греха таить, Кузнецов, увлечённый своими архивными поисками, писал чрезвычайно размахисто и делал подчас совершенно необоснованные выводы. Но его находка подлинного акта “судебно-медицинского освидетельствования мёртвого тела гр. Витенерга Виктора” за подписью “Суд. мед. эксперта Гиляревского” заставляет согласиться

с кузнецовским выводом: “Сравнение безграмотного сочинения “московского” акта (с точки зрения принятого тогда стандарта) с документом на подобную тему, написанным Гиляревским (прошло всего 10 дней), убедительно доказывает: попавшая в поле зрения есениноведов фальшивка (кем и когда подброшенная?) не выдерживает критики. Терминология, стиль, форма “дезы” заставляет думать: Гиляревский не имел к ней никакого отношения”).

* * *

Теперь обратимся к ещё одной немаловажной детали, нашедшей отражение почти во всех печатных материалах о гибели поэта.

В январе 1926 года из-под пера Эрлиха вышел первый вариант его воспоминаний о Есенине — описание четырёх дней, проведённых поэтом в Ленинграде. В них он и поведал об этой детали, которую, очевидно, ранее передал в руки журналистов.

Обратим внимание на сообщение в “Известиях”: “Вечером 27 декабря он попросил администрацию гостиницы “Англетер”, где он остановился, не допускать к нему в номер никого, так как он устал и желает отдохнуть”. Эта информация могла исходить только от Эрлиха. Ни Г. Устинов, ни Е. Устинова ни о чём подобном не вспоминали. В воспоминаниях же Эрлиха этот эпизод ещё более конкретизируется: “На другой день портье, давая показания, сообщил, что около десяти Есенин спускался к нему с просьбой: никого в номер не пускать”.

Видимо, хотел отдохнуть или, как сочли позднее, — покончить счёты с жизнью. Однако от лица администрации гостиницы показания давал управляющий Вячеслав Михайлович Назаров, вскрывший отмычкой номер Есенина. И вот ещё одна странность: в его показаниях нет ни слова о просьбе Есенина никого к нему не пускать. В показаниях Назарова выделяется точно очерченный хронологический отрезок — с 10 часов 30 минут утра, когда к нему подошла Устинова, и до момента, когда он сам позвонил во 2-е отделение ЛГМ с сообщением о самоубийстве жильца из пятого номера. То есть речь идёт о том, что произошло утром 28 декабря, и ни одним словом Назаров не упоминает о каких-либо событиях предыдущего дня или вечера.

Что же заставило Эрлиха сознательно лгать газетчикам, а потом и в своих воспоминаниях? А может быть, он не лгал? Может быть, Назаров скрыл в своих показаниях этот факт, а потом приватно сообщил о нём Эрлиху? Но как он мог это сделать, если свидетелей допрашивали тут же одного за другим? Или всё же каждого по отдельности? Показания Назарова на редкость скупы, в конце он настаивает на том, что “больше ничего показать не может”. Так спускался ли к нему Есенин 27 декабря около 10 часов вечера? И если да, то почему управляющий это скрыл? Но, может быть, не Есенин, а кто-то другой спускался вниз и сообщил Назарову, что поэт просил никого к нему не пускать? Кто был этот человек? С какой целью последовало это предупреждение? И если Назаров в разговоре с Эрлихом уже после дачи показаний сообщил ему о своей последней встрече с Есениным, то зачем он это сделал? С чьей подсказки, если она была?

Ну, а если всё же был некий “портье”, с которым у Есенина действительно состоялся вышеуказанный разговор, то почему милиционеры, производившие “дознание”, не сняли с него показаний? Впрочем, по зрелом размышлении, этот вопрос может только поразить своей наивностью. Не были допрошены ни Клюев, ни Приблудный, ни художники Павел Мансуров и Ушаков, приходившие в номер к Есенину. Создаётся впечатление, что показания давали только те, кто должен был их дать по изначальному сценарию. 28 января 1926 года Эрлих пишет письмо Валентину Вольпину, текст которого почти слово в слово повторяет протокол допроса первого. Он специально отмечает в этом же письме: “Мои обязанности кончаются как раз там, где кончаются голые показания и начинается литература”. А месяцем ранее, 29 декабря 1925 года, в утреннем выпуске “Красной газеты” появляется некролог Георгия Устинова — “теоретическое обоснование” неизбежности есенинского самоубийства.

Странное впечатление производят исключительно все воспоминания о четырёх есенинских днях в “Англетере”. Как будто писавшие их следуют стилю и направлению подписанного ими протокола. В мемуарах людей, не сталкивавшихся с поэтом в эти последние четыре дня, реальность и фантазия неразрывно перемешаны, детали происшедшего тонут в общем наплыве воспоминаний, а беллетристика воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Георгий же Устинов, его жена и Эрлих стремятся дотошно выписать каждую деталь, словно пытаются убедить окружающих в абсолютной достоверности ими изложенного. Достаточно взять в руки книгу Эрлиха “Право на песнь”, чтобы убедиться в этом. Начало и середина книги – сплошной полёт фантазии. Обрывочные зарисовки, запомнившиеся есенинские реплики, описания мимолетных встреч – всё излагается прерывисто, в максимальном темпе, пунктиром, никакой заботы о достоверности изображаемого. В конце книги – картина диаметрально противоположная. Вольф словно перепрыгивает в очередной раз протокол своего допроса, стремясь ничего не упустить и всё выдержать в тоне, заданном ещё во время беседы с милицией в гостинице. Эта дотошность и извлечение из памяти каждой подробности производят вообще странное впечатление, а особенно когда речь идёт о Есенине.

О том, до какой степени запутался Эрлих, можно судить по воспоминаниям знакомой Есенина – актрисы Эльги Каминской. “Много лет спустя, – записала она, – Вольф Эрлих проездом в Армению был в Москве. Он зашёл ко мне, рассказал о том, как они вдвоём с Есениным договаривались покончить с собой. Он должен был прийти к нему в гостиницу “Англетер”, но не пришёл. Когда же я спросила, как это случилось, что он не пришёл, ведь если он раздумал, то мог бы повлиять и на него, Эрлих ничего не ответил, но был очень смущён”.

Разговор этот состоялся уже после выхода в свет “Права на песнь”. Ни в показаниях Эрлиха, ни в его мемуарах, ни в его письме к Вольпину нет ничего подобного. Откуда возникла эта, с позволения сказать, “информация”? Для чего Эрлих её распространял спустя несколько лет после трагедии? Что означает его фраза в тексте книги о вине перед Есениным, “о которой он знал, а я знаю” (так у Эрлиха?). Что прикрывал Эрлих этим странным разговором? И так ли уж случайно то, что состоялся он примерно в то же время, когда покончил с собой еще один главный свидетель “четырёх есенинских дней” в гостинице – Георгий Устинов?

* * *

Что же касается самой гостиницы “Англетер”, то вокруг неё происходили и не могли не происходить в эти дни разного рода интереснейшие события. Ведомственное учреждение, она была одним из “укреплённых пунктов” во вражеском “тылу”, то бишь в зинovieвском Ленинграде, городе, который должен был пасть под натиском “партийного большеинства”.

Гостиница находилась под пристальной охраной работников ГПУ, живших в её номерах. Более того, в октябре 1925 года в Ленинградский военный округ поступило донесение из ГПУ о предоставлении в ней номера “на льготных условиях” некоему неизвестному. Подготовка к решающему сражению шла по всем правилам.

...Обратимся ещё раз к дневнику Иннокентия Оксёнова. В нём имеется запись, датированная тем же 29 декабря, гласящая, что 27-го числа около 10 часов вечера к Есенину заходил Берман, который якобы видел поэта пьяным. Замечание чрезвычайно интересное: никаких показаний Бермана в “деле” нет. В номер к Есенину он мог зайти только на правах старого знакомого, а это значит, что речь идёт о поэте Лазаре Бермане – бывшем секретаре “Голоса жизни”, с которым Сергей был знаком ещё по Петрограду 1915 года.

Кто же такой Лазарь Берман и каким образом он мог в те дни очутиться в “Англетере”? После 1917 года он становится секретным сотрудником ВЧК – ОГПУ. В огромной мере на его совести лежит гибель Гумилёва – Берман давал показания как “связник” между ним и “организацией” генерала Таганцева. Есть сведения, что в этих же показаниях он назвал имена Есенина и Мая-

ковского как участников заговора. Если же мы вспомним, что “гумилёвское” дело вёл будущий близкий друг Маяковского Яша Агранов, то картина становится ещё интереснее.

Разговоры о “пьяном Есенине” придётся отбросить с порога. В те рождественские дни ни в его номере, ни в номере его друзей не было ни одной бутылки вина – все старания что-нибудь раздобыть остались тщетными. Получается, что этот слух, идеально совпадающий с “общеписательским” представлением о Есенине, распространял тот же Берман. В котором часу он появился в есенинском номере? Сколько времени он там пробыл? Почему дверь оказалась заперта – Есенин не мог в эти дни перебороть состояние тревоги и не оставался у себя в комнате один, а тем более не запирался... Почему так странно повёл себя управляющий Назаров на следующее утро – открыл дверь отмычкой и тут же ушёл, как бы заранее зная о происшедшем? Подобные вопросы сейчас можно задавать до бесконечности...

Что же касается запертой двери со вставленным изнутри в замочную скважину ключом, то среди гостиничных воров в те годы был известен инструмент типа сточенных на конце пассатижей, так называемый “экстрактор”, с помощью которого захватывалась головка торчащего в скважине ключа и дверь элементарно отпиралась и затем опять же запиралась на ключ после проделанной операции.

(Что по этому поводу пишет Прилепин?)

А вот что:

“Вопиющая неприятность для авторов версий: есенинский номер был заперт изнутри.

Убийцы должны были в таком случае уйти через окно, но оно было закрыто.

Что же предлагают конспирологи?

О, это любопытно.

Нам говорят, что есть такие специальные отмычки, которые позволяют запирать дверь так, чтобы ключ оставался внутри.

Здесь есть взрослые люди, способные этому поверить?”

Мы думаем, что этому вполне способен был поверить вполне взрослый человек – автор уже упоминавшейся статьи “Паутина” в журнале ленинградской милиции “На посту”, который и написал в ней об этом самом “экстракторе”).

А по рассказу бывшего чекиста Иосифа Ханеса, 28 декабря группа сотрудников ГПУ выехала утром в “Англетер”. Что они там делали – осталось загадкой. По крайней мере, никакие бумаги на этот счёт до сих пор не найдены.

Показательна в этом отношении история с самим “Англетером”. В марте 1987 года он был взорван среди бела дня на глазах у тысяч потрясённых ленинградцев, многие из которых делали всё возможное, чтобы отстоять гостиницу. Взрыв этот стал своего рода символом “перестройки” – символом отношения новых властей к русской культуре вообще и к Сергею Есенину, в частности. Впрочем, война, объявленная русскому поэту много десятилетий тому назад, не прекращалась, по сути, ни на один день. Нельзя не вспомнить, как горели московские квартиры, в которых жил поэт, едва только заходила речь о возможности создания в столице его музея.

Может быть, и настанет день, когда будут даны исчерпывающие и точные ответы на поставленные вопросы.

Ведь речь идёт о *Сергее Есенине*, человеке и поэте, жизнь, поэзия и смерть которого до сих пор хранят в себе некую тайну русского бытия, перед какой в недоумении останавливались друзья, писавшие мемуары, литературоведы, разбиравшие его поэзию по строчкам, следователи и эксперты, восстанавливавшие детали его гибели.

И если даже и будут названы по именам те, кто присутствовал при последних минутах земной жизни Есенина, едва ли это знание целиком и полностью объяснит нам причину происшедшего. Победители устраняли негодную личность? Или побеждённые заматали следы? Или?.. И так до бесконечности.

Обстоятельства пушкинской дуэли известны нам, казалось бы, во всех подробностях. Посчитайте количество научных и литературных трудов, созданных на эту тему. И всё же до сих пор продолжают возникать новые версии случившегося, личность поэта в последние дни его земного бытия и сегодня представляет неразгаданную тайну. Ибо речь идёт о *Пушкине*.

А в нашу эпоху всеобщего копания в кровавых сгустках прошлых десятилетий абсолютное доверие многих к официальной версии гибели Есенина просто смехотворно. Косвенных данных, свидетельствующих о том, что поэт не по своей воле ушёл из жизни, куда больше, чем тех же данных, говорящих об убийстве Соломона Михоэлса. И, однако, Михоэлс считается убитым злодейской волей Сталина без единого документального тому подтверждения.

* * *

А что касается непосредственных свидетелей последних четырёх есенинских дней, а также людей, в большей или меньшей степени близких к Есенину в его последние месяцы, то об этом стоит сказать хотя бы несколько слов.

Георгий Устинов повесился при невыясненных обстоятельствах в 1932 году, оставив записку, написанную кровью, содержание которой не известно по сей день. Судьба его жены Елизаветы неизвестна.

Вольф Эрлих был расстрелян в 1937 году. Учнадзиратель Н. Горбов был арестован в начале 1930-х годов и бесследно исчез. Управляющий гостиницей чекист Назаров был арестован в 1929 году и отправлен на Соловки, откуда вернулся через несколько лет морально и физически сломленным, умер в 1942 году. Гиляревский умер в 1931 году в возрасте 76 лет. Жена его была арестована и погибла в одном из лагерей.

Галина Бениславская застрелилась 3 декабря 1926 года на могиле Есенина, оставив предсмертную записку, фактически содержащую обвинение в адрес Льва Сосновского, не успокоившегося и после смерти поэта, продолжавшего публиковать паскудные опусы типа “Развенчайте хулиганство!”. Но когда подруга Галины, Яна Козловская, в день самоубийства Бениславской пришла к ней в квартиру, она обнаружила открытый шкаф, вываленные на пол платья и сущий разгром в комнате. Всё говорило о том, что здесь недавно проводили обыск.

Особо в этой связи стоит сказать о Зинаиде Николаевне Райх, которая не верила никогда в самоубийство первого мужа. Слышали, в частности, от неё и реплики, свидетельствующие о том, что рано или поздно она всё же намерена разобраться в происшедшей трагедии.

Двадцать девятого апреля 1937 года Зинаида Райх написала письмо Сталину, содержащее, в частности, следующие пассажи:

“... Простите мою дерзость, — это беру на себя, — Вам дерзости никто никогда не скажет, — меня воспитали “Ближние мельницы” (у В. Катаева описаны в романе “Белеет парус одинокий”). Я дочь рабочего — сейчас это для меня главное, — я верю в свой “классовый инстинкт”, он вёл меня, когда я помогала Мейерхольду в борьбе с РАППом.

Он ведёт меня на это письмо к Вам, я обязана перед своей совестью всё, что я знаю, сказать. “Что я знаю” — не так уж много, но я Вам всё расскажу при свидании. У меня много “прожектов” в голове, но не всё, вероятно, верное. — Вы разберётесь и обдумаете сам.

Сейчас у меня к Вам два дела. 1-е — это всю правду наружу о смерти Есенина и Маяковского. Это требует большого времени (изучения всех материалов), но я Вам всё, всё расскажу и укажу все дороги. Они, — для меня это стало ясно только на днях, — “троцкистские”. О Володе Маяковском — я всегда чувствовала, что “рапповские”, это чувствовала и семья его (мать и сестра). Смерть Есенина — тоже дело рук троцкистов, — этого я не чувствовала, — была слепа (многим были засыпаны глаза и чувства). Теперь и это мне ясно, но это требует такого большого такта и осторожности; у меня этого нет, — я хочу, чтоб “развертели” это Вы, ибо я одна бессильна. Я хочу, чтоб могила Есенина была не “святой могилкой с паломничеством”, чтоб на ней не стоял крест, поставленный его матерью, а стоял хороший советский памятник и чтоб дурацкая ошибка Бухарина со “злыми заметками” была исправлена, а “сожаление” Троцкого о “незащищённом дитяти” было разгриммировано не как “истинная человечность”, а как “человечность политическая”.

Дорогой Иосиф Виссарионович, у меня очень счастливый “фасад биографии”, но это <не> только фасад, и потому я в себе нахожу всегда много верных слов и чувств, которых лишены многие.

Вас так бесконечно, бесконечно обманывают, скрывают и врут, что Вы правильно обратились к массам сейчас. Для Вас я сейчас тоже голос массы, и Вы должны выслушать от меня и плохое, и хорошее. Вы уж сами разберётесь, что верно, а что неверно. В Вашу чуткость я верю...”

... Встреча эта так и не состоялась, а летом 1939 года Зинаида Райх была зверски убита в своей квартире. В то, что это чистая уголовщина, не верилось многим современникам. Предполагали (а ныне предположение всё более перерастает в уверенность), что она была убита агентами НКВД, хотя доказательств тому до сих пор нет. Но если предположить, что в её смерти действительно замешаны сотрудники органов внутренних дел, то чего ради было устраивать эту кровавую баню в квартире арестованного В. Э. Мейерхольда? З. Н. Райх проще простого было бы арестовать как жену “врага народа”. Видимо, этого не было сделано потому, что Зинаида Райх вообще не должна была попасть в НКВД. Она не должна была произнести там ни единого слова.

Почему же? Архивы до сих пор хранят молчание. Предположить здесь можно многое, но ни одно предположение пока не подкрепляется документально.

Здесь уместно привести письмо Константина Есенина, адресованное Матвею Ройзману. Вот что он сообщал в нём о гибели своей матери:

“Всеволод Эмильевич был арестован 20 июня 1939 года. Мне было уже 19 лет. Я отлично помню всю эту “эпопею” в мельчайших подробностях. Что касается смерти Зинаиды Николаевны, то хочу Вас, Матвей Давыдович, уверить, что “молва” многое нанесла на это довольно просто объясняемое убийство. Не буду Вам об этом писать. Скажу только, что следствие по этому “делу” велось очень бестолково и бессистемно, сомневаюсь и в том, что оно было добросовестным. Ведь известно, что внутренними делами тогда ведал Берия, этим многое сказано.

Я уехал из Москвы в Константиново под Рязань вечером 13 июля, а в ночь с 14 на 15 и случилась трагическая беда.

Ограбления не было, было одно убийство.

Всякие “мифы” о золотых портсигарах и запонках – действительно мифы.

У Мейерхольда никогда не было золотого портсигара, да если бы и был, он был бы конфискован при обыске, так как при арестах и обысках, как известно, все золотые вещи конфискуются.

Насколько мне известно из весьма солидных источников, по делу матери были осуждены три совершенно между собой не связанные бандитские группы...”

Из письма К. С. Есенина очевидно, что следствие велось явно недобросовестно (как тут не вспомнить “следствие” по делу о самоубийстве С. Есенина!) и что с целью “закрыть” это неудобное “дело” и положить конец слухам (поскольку инсценировано было не самоубийство, а разбойное нападение) арестовали уголовников, не имевших, судя по всему, никакого отношения к этому убийству.

К. С. Есенин пишет, что “ограбления не было”. Очевидно, не было, так как в доме отсутствовали ценные вещи, а других не взяли. Но о чём Константин Сергеевич не упомянул ни в этом письме, ни в своих воспоминаниях об отце и своём домашнем архиве, так это о том, не пропали ли какие-либо бумаги после убийства Зинаиды Райх.

Известно, что она писала воспоминания о Сергее Есенине. В архиве Мейерхольда был обнаружен небольшой листок бумаги, исписанный её почерком с обеих сторон. Наброски мемуаров с упоминанием имени Есенина в связи с поездкой на Соловки, встречей “четырёх” (Есенина, Дункан, Мейерхольда и Райх) перед отлётом Сергея в Америку. Упоминание о последней встрече летом 1925 года.

Всё ли это, что успела написать Райх? Или, помимо данного наброска, всё же были написаны гораздо более пространные воспоминания, пропавшие после её гибели? У нас пока нет ответа на этот вопрос.

И ещё одно. В 1926 году Иванов-Разумник отправил Зинаиде Райх письмо с указанием, что им написано “листов 5-6” воспоминаний о Есенине, “конечно, не для печати”, и с сообщением, что в свой следующий приезд в Москву он привезёт эти воспоминания ей. Оказались ли эти воспоминания в руках

Зинаиды Райх с тем, чтобы после её гибели исчезнуть? Или они остались у Иванова-Разумника и погибли с большей частью его архива в Царском Селе? Ответа на этот вопрос мы также не имеем.

* * *

Газеты ни на секунду не прекращали истерику о “самоубийстве” поэта. Дознание, так, по существу, и не начавшись, было прекращено в последних числах декабря. Следователь, бегло ознакомившись с материалами “дела”, поставил точку 20 января 1926 года, а за эти 20 дней тощее “дело” не пополнилось ни одной бумажкой.

Даже выражение “нечеловеческой скорби и ужаса”, которое увидел на лице мёртвого Есенина Павел Медведев, не заставило задуматься ни друзей, ни милицию о том, что же в действительности произошло поздно вечером 27 декабря в ленинградской гостинице “Англетер”. Впрочем, те немногие, кто заподозрил неладное, боялись об этом говорить.

И только самый близкий человек, родная мать поэта, сердцем чувствовала, что сын ушёл из жизни не по своей воле. Анна Берзинь уже в конце 1950-х годов, вспоминая о похоронах Есенина, писала: “Утром предполагалась гражданская панихида, но я знала, что мать Сергея отпевает его заочно у ранней обедни, и она хотела непременно предать его земле, то есть по христианскому обряду осыпать, рассыпая землю крестообразно. Она хотела в Дом печати привести священника с причетом, чтобы тут же совершить обряд отпевания, и пришлось долго её уговаривать, что гражданские похороны с религиозным обрядом несовместимы.

Отговорить её от того, чтобы она отпевала Сергея заочно, я не смогла и не особенно уговаривала. Это было её дело...”

Самоубийц, как известно, не отпевают...

Что знала Татьяна Фёдоровна о гибели своего сына, о чём догадывалась и как сумела убедить в верности своей догадки священника, мы никогда уже не узнаем. При жизни она не проронила об этом ни слова.

* * *

Мы размышляли так 25 лет назад, отделяя зёрна от плевел, суть от всяческих позднейших наслоений. И в наших размышлениях было гораздо больше вопросов, чем ответов, вопросов, от которых, мы полагаем, просто не отмахнуться.

Прилепин уверяет нас, что ни один(!) человек в то время думать не думал о конце Есенина иначе, как о самоубийстве.

Перечисляет многих. Включая Василия Наседкина, который, придя с похорон, сказал: “Сергея убили” (об этом мы слышали от племянниц поэта Светланы Есениной и Татьяны Флор-Есениной).

Включая Александра Воронского, писавшего в своих воспоминаниях: “Несомненно, он болел манией преследования. Он боялся одиночества. И ещё: передают – и это проверено, – что в гостинице “Англетер” перед своей смертью он боялся оставаться один в номере. По вечерам и ночью, прежде чем зайти в номер, он подолгу оставался и одиноко сидел в вестибюле. Но лучше об этом не думать, ибо кто знает, что скрывалось у Есенина за этой манией преследования и что это была за болезнь...”

Когда всё – пресса, “общественное мнение”, материалы “следствия”, информация о которых также проникала в газеты, – всё вещает о “самоубийстве” поэта, – очень трудно абстрагироваться от этой “музыкальной волны”. Гораздо естественнее “подложить” те или иные факты жизни ушедшего под общее мнение, а тем или иным своим наблюдениям придать соответствующий смысл... Так поступали многие – и Воронский не исключение. И всё же: не слышится ли здесь в его словах глубоко запрятого сомнения, сомнения, которое он, может быть, гнал от себя самого?

Ведь не один Эрлих слышал от Есенина: “Меня хотят убить! Я, как зверь, чувствую это”. “Есенин говорил, что у него много врагов, которые в заговоре против него и собираются убить” (это тот же Воронский).

Да и Иван Касаткин в списке “не сомневавшихся”. Даром, что в 1926 году писал Ивану Вольнову: “У меня масса догадок о его конце”. . . . Что это были за догадки?

“Знаете, когда впервые, — по крайней мере, публично — усомнились (в самоубийстве Есенина) в России? — спрашивает Прилепин. — Примерно шесть десятилетий спустя”.

А как Вам, Захар, сцена из тюремного каземата 1930-х годов, которую вспоминает Михаил Бойков в книге “Люди советской тюрьмы”, изданной в 1957 году в Буэнос-Айресе:

“Из всех “настоящих” наиболее симпатичны мне двое молодых русских ребят: Витя и Саша. Оба студенты второго курса Ставропольского педагогического института. Арестованы всего лишь две недели тому назад, и розовая свежесть их щёк только слегка тронута сероватой тюремной желтизной, а юношеская бодрость и горячность не подавлена апатией и медленно-ленивым отупением заключённых.

Они дети кадровых рабочих местного маслобойного завода и бывших красных партизан гражданской войны, но советскую власть ненавидят, а своих отцов не любят.

— За что? — спросил я их.

— А за то, что эта проклятая власть, вместе с нашими батьками, довела до смерти Серёжу, — ответил Витя.

— Какого?

— Есенина, — дополнил его ответ Саша.

— Но при чём здесь ваши отцы? — удивился я.

— Ну, как же. Они воевали за власть убийц Серёжи, — сказал Саша.

— На свою голову, — бросил Витя. . . .

Спустя три дня после ареста следователь сообщил ему:

— Твоего папашку мы вчера тоже забрали. Совместно с папашкой твоего приятеля. Как врагов народа. Неподалёку от вас сидят.

— И тебе не жаль отца? — спросил я Витю.

Он ответил мне народной антисоветской половицей:

— За что боролся, на то и напоролся. — Но, подумав, вздохнул. — Жаль всё-таки. . . .

В институте он руководил подпольным литературным кружком, а Саша был его ближайшим другом и помощником. Более 30 юношей и девушек, тайком от других студентов и своих родителей, изучали жизнь и творчество любимого ими, но запрещённого в то время советской властью поэта. Заучивали наизусть и декламировали его стихи, и сами писали “под Есенина”. На тайных “читках” по квартирам и на прогулках в пригородных лесах горячо спорили о нём, искали и, в большинстве случаев, находили ответы на до того не разрешённые ими вопросы его жизни и творчества. Один из вопросов, больше всего вызывавший споров, они никак не могли разрешить: покончил самоубийством или убит Сергей Есенин?

Некоторые приводили факты, подтверждающие самоубийство поэта, другие фактами же опровергали их и заявляли:

— Энкаведисты могут подделать любой факт!

День за днём накапливался в кружке антисоветский “литературный динамит” и, наконец, взорвался.

Преподаватель литературы, коммунист, читая на втором курсе института лекцию о Владимире Маяковском, помянул Есенина весьма недобрыми словами.

— Не позорьте нашего любимого поэта! — вскочил с места возмущённый Витя.

— Долой клеветников! — крикнул Саша. Их поддержали “есенинцы”, которых в аудитории было десятка полтора. К последователям и последовательницам погибшего поэта присоединились и несколько студентов, не состоявших в кружке. Багровея от натуги, преподаватель литературы старался перекричать протестующую молодёжь:

— Прекратите бунт! Или я вызову НКВД! Это антисоветская агитация!

— Агитация будет впереди! Вот слушайте, — подбежал к нему Саша и начал декламировать своё стихотворение, посвящённое Есенину:

*Нас тоска твоя нынче гложет;
Как тебе, всем нам жить невесело.*

*Ты дошёл до верёвки, Серёжа!..
А быть может, тебя повесили?..*

Эти “контрреволюционные” слова привели в ужас преподавателя-коммуниста, и он, громко икнув от страха, выбежал из аудитории. Студенты и студентки, забаррикадировав столами входную дверь, продолжали “бунтовать”: демонстративно читали антисоветские стихи Есенина и свои, посвящённые ему.

Через полчаса к педагогическому институту подкатили несколько “чёрных воронок”. Энкаведисты, взломав дверь, ворвались в аудиторию и всех находившихся там арестовали. Под прицелом винтовок их сковывали наручниками попарно, избивая при этом рукоятками наганов, отводили к автомобилям и вталкивали внутрь огромных чёрных кузовов...”

* * *

Честно говоря, временами обидно за Захара Прилепина. В его книге немало энергичных, искренних, тонких страниц, точных наблюдений, в частности, о христианских мотивах у Есенина. И тем неприятнее наткнуться на такое:

“В “Вечерней Москве” – поминальное слово Павла Когана: “...прибавилась новая жертва – одна из драгоценнейших жертв, которыми усеян наш трудный путь”.

В “Бакинском рабочем” – кинорежиссёр Владимир Швейцер: “...умолк рязанский соловей – золотоволосый крестьянский Пушкин нашего века!”...

Сестра Есенина Катя вышла замуж за Василия Наседкина в том самом декабре 1925 года, 19-го числа.

Ей было 20 лет, и Наседкин был её вторым, после Ганина, мужем...”

Поэту Павлу Когану в 1925 году было восемь лет, и, конечно, не ему принадлежит заметка в “Вечерней Москве”, а пятидесятитрёхлетнему критику Петру Семёновичу Когану. Владимир Швейцер был журналистом и киносценаристом, но как режиссёр не снял ни одного фильма... А о том, что Екатерина Есенина была женой Ганина (!), мы (как и остальные люди, изучающие биографию Есенина) слышим впервые.

Захар, Вам не надоело повторять уже навязшее в зубах по поводу “Чёрного человека”?

“Чёрный человек – он сам.

Герой этой поэмы ведёт беседу с самим собой. ...

В конце поэмы герой разбивает своё отражение тростью.

Самого себя разбивает...”

В первую очередь, этот миф развеял сам Есенин в своей поэме. Надо только внимательно и вдумчиво прочесть её, а не повторять банальные пошлости о “суде поэта над самим собой”. Есенин не раз повторял, что эта поэма написана по следу пушкинской маленькой трагедии “Моцарт и Сальери”. Пушкинский Сальери ставит перед собой сверхзадачу: “остановить” Моцарта, дабы спасти и оставить в памяти потомков “жрецов, служителей музыки” вроде себя со своей “глухой славой”. И прибегает ради этого к яду.

XX век разнообразил средства. Можно подослать убийц, можно написать донос, чтобы “соперник” никогда не вернулся из мест весьма отдалённых. А можно – создать соответствующую репутацию. Преимущественно мемуарами. И если мы вчитаемся в обилие сочинений о Есенине, написанных сразу после его смерти, в основном, не любившими и не понимавшими его людьми, то увидим тот же монолог “чёрного человека”. Есенин всё это предвидел и, по сути, без надежды попросил однажды Мариенгофа: “Толя, когда я умру, не пиши обо мне плохо”. В результате мы получили “Роман без вранья”. И не только его... Вот уж что никак не стыкуется ни с каким “чёрным мифом”, так это сам есенинский стих.

Но ещё обиднее другое. Зачем же, настаивая на том, что Есенина необходимо читать внимательно (безусловно, так!), Прилепин вычитывает из него “нужные” мотивы, подгоняя под свою концепцию?

Когда Василий Наседкин, прочитав последние стихи Есенина, спросил его: “Что это ты запел о смерти?” – Есенин, встряхнувшись, словно ждал этого вопроса: “Только думая о смерти, поэт может обострённо чувствовать жизнь”.

Представлять себе весь творческий путь Есенина аж с 1915 года в разрезе “по обвальному количеству суицидальных стихов видно, насколько непереносима была ему жизнь как таковая... Просто непереносима, и всё”, – значит не понимать главного.

Да, можно и поныне видеть “отдалённое предсказание” в строчках стихотворения 1916 года: “И вновь вернусь я в отчий дом, // чужою радостью утешусь. // В зелёный вечер под окном // на рукаве своём повешусь...” Только тогда уж в пору вспомнить и “Москву кабацкую”: “Я с собой не покончу! Иди к чертям”, – и, наконец, “Метель”:

*И первого
Меня повесить нужно,
Скрестив мне руки за спиной,
За то, что песней
Хриплой и недужной
Мешал я спать
Стране родной.*

Удивительное дело: приводит в подтверждение своей мысли Прилепин экскромт 1916 года:

*Слушай, поганое сердце,
Сердце собачье моё!
Я на тебя, как на вора,
Спрятал в руках лезвиё.
Рано ли, поздно всажу я
В рёбра холодную сталь...*

А далее продолжает: “На тот же размер сочинено девятью годами позже “Глупое сердце, не бойся...”; тон стал помягче, но смысл остался прежним”.

Прежним?!

*Жизнь не совсем обманула.
Новой напьёмся силой.
Сердце, ты хоть бы заснуло
Здесь, на коленях у милой.
Жизнь не совсем обманула.
Может, и нас отметит
Рок, что течёт лавиной,
И на любовь ответит
Песнею соловьиной.
Глупое сердце, не бойся...*

Разница, думается, видна невооружённым глазом.

И, наконец, самое главное: “Мы знаем место, день, час его последней дуэли, знаем высоту солнца над горизонтом, температуру воздуха, направление ветра, знаем размер отверстия, которое проделала пуля в его чёрном сюртуке. Но на каждом шагу нам приходится признавать, что мы не знаем ничего”. Так писала Серена Витале о последней дуэли Пушкина, о дуэли, которой посвящены десятки книг и сотни исследований. Достаточно в этом контексте бросить беглый взгляд на последние дни Есенина, чтобы признать: об этой трагедии мы до сих пор не знаем **вообще ничего**.